

К.Н. Леонтьев

О всемирной любви Речь Ф.М. Достоевского на пушкинском празднике

Варшава, 1880

I

Не пора ли уж перестать писать о Пушкине и о всех тех, кто блистал и действовал на его московской тризне? Довольно!.. Общество русское доказало свою «цивилизованную» зрелость, поставило Пушкину дешевый памятник, — *по-европейски* убирало его венками, *по-европейски* обедало, *по-европейски* говорило на обедах *спичи*. По обыкновению своему, интеллигенция наша ровно, по этому поводу, ничего не выдумала своеобразного. У подножия монумента великого русского творца не обнаружилось ни одного молодого и оригинального таланта ни в ораторском искусстве, ни в поэзии; говорили речи и стихи, и вообще, действовали тут все люди прежние, с давно определившимися взглядами и давно известные; блистали люди, которых молодость прошла при *прежних условиях*, более сходных с условиями, развившими самого Пушкина. Враждебно ли или сочувственно относятся все эти таланты к *старому порядку* и его остаткам — все равно; *они все обязаны этому поруганному прошлому* как впечатлениями своими (то есть содержанием своих творений), так и умственными силами своими, трудившимися над воспроизведением этого содержания, данного русскою жизнью... *Нового ничего!*.. Ни изобретательности в форме чествования, ни какой бы то ни было ум поражающей свежей мысли, либо вовсе неслыханной, либо давно забытой и просящейся снова в жизнь. Многое из сказанного и написанного по этому поводу было где-то и когда-то, наверное, тоже сказано или написано теми же самыми лицами или иными, и гораздо лучше, и полнее. Один только человек, как слышно, выразился по поводу пушкинского празднества вполне оригинально: это — граф Л. Толстой. Печатали, будто он, от-

казываясь от участия в этом празднестве, сказал: «Это все одна комедия!» Я не думаю, чтоб это было так. Отчего ж комедия? Вероятно, многие были искренни в своем желании почитать память Пушкина... И хотя мне очень нравится эта независимость графа Толстого, его капризное пренебрежение к современности нашей, но я не вижу нужды соглашаться с тем, что все это – притворство и комедия. В искренность я готов верить; я желал бы видеть только во всем этом больше национального цвета, побольше остроумия и глубины. Все это, быть может, и очень тепло; но тепло как пар, не замкнутый в какую-либо форму. Тепло, даже горячо, порывисто, но рассеялось скоро и не осталось ничего. Все надежды, все мечты, и мечты вовсе не картинные! Правду сказали в «Вестнике Европы» (я где-то это прочел), что и в том «смирении», которое хотят признать уже довольно давно отличительным признаком славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости, ничем еще не оправданных... Довольно об этом. Больше всего сказанного и продекламированного на празднике меня заставила задуматься речь Ф. М. Достоевского. Положим, и в этой речи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежит исключительно г. Достоевскому. О русском «смирении, терпении, любви» говорили многие, Тютчев пел об этих добродетелях наших в изящных стихах. Славянофилы прозой излагали то же самое. О «всеобщем мире» и «гармонии» (опять-таки в смысле *благоденствия*, а не в смысле *поэтической борьбы*) заботились и заботятся, *к несчастью*, многие и у нас, и на Западе: Виктор Гюго, воспевающий междоусобия и цареубийства; Гарибальди, составивший себе славу военными подвигами; социалисты, квакеры; по-своему – Прудон, по-своему – Кабе, по-своему – Фурье и Ж. Занд.

В программе издания «Русской мысли» тоже обещают *царство добра и правды на земле, будто бы обещанное самим Христом*. В собственных сочинениях г. Достоевского давно и с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и прощении. Все это не ново; ново же было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полу-утилитар-

ного всепримирительного стремления к многообразному — чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина. Но, как бы то ни было, необходимо прежде всего считаться и с именем автора, и с эффектом, произведенным его словами, — тем более что эта не слишком новая мысль о «смирении» и о примирительном назначении славян (составляющем, за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную особенность) распространена в той части нашего общества, которое ни с любовью к Европе не хочет расстаться, ни с последними сухими и отвратительными выводами ее цивилизации покорно помириться не может. До этого, к счастью, еще наше смирение не дошло.

Об этой речи я и хочу поговорить.

Не знаю, что бы я чувствовал, если бы я был *там*. Но издали человек хладнокровнее. Я нахожу, что речь г. Достоевского (напечатанная потом в «Московских ведомостях») в самом деле должна была произвести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, что признание *космополитической любви*, которое он считает уделом русского народа, есть назначение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само по себе так *непримиримо!*..

Во-первых, я постичь не могу, за *что* можно *любить современного европейца*...

Во-вторых, любить и любить — разница... Как любить? Есть любовь-милосердие и есть любовь-восхищение; есть любовь моральная и любовь эстетическая. Даже и эти два вовсе несхожие влечения нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. Любовь моральная, то есть искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастье и т. д. может быть религиозного происхождения и происхождения естественного, то есть производимая (без всякого влияния религии) большою природною добротой или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естест-

венной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или милосердия, может прийти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей.

На это можно привести довольно примеров и из нынешней жизни. Но живые примеры и биографические подробности заняли бы здесь много места. Больше я развивать эту тему и подразделять чувства любви или симпатии не буду. Об этом можно написать целую книгу. Я только хотел *напомнить* все это. Остановлюсь на грубом, можно сказать, различии между любовью моральной и любовью эстетической. Мы жалеем человека или он нравится нам — это большая разница, хотя и совмещаться эти два чувства иногда могут. Попробуем приложить оба эти чувства к большинству *современных* европейцев. Что же нам — *жалеть* их или *восхищаться ими*?.. Как их жалеть?! Они так самоуверенны и надменны; у них так много перед нами и перед азиатами житейских и практических преимуществ. Даже большинство бедных европейских рабочих нашего времени так горды, смелы, так *не смиренны*, так много думают о *своем мнимом* личном достоинстве, что сострадать можно им никак не по первому невольному движению, а разве по холодному размышлению, по натянутому воспоминанию о том, что им в самом деле может быть *в экономическом отношении тяжело*. Или еще можно их жалеть «философски», то есть так, как жалеют людей ограниченных и заблуждающихся. Мне кажется, чтобы почувствовать невольный прилив к сердцу того милосердия, той нравственной любви, о которой я говорил выше, надо видеть современного* европейца в каком-нибудь

* Я говорю «современного» в смысле тенденции, рода воспитания и всего того, что составляет так называемый тип, а не про всех тех, которые теперь живут. И Бисмарк, и папа, и французский благородный легитимист, и какой-нибудь набожный простой баварец или бретонец тоже теперь живут, но это остатки прежней, густой, так сказать, и богатой духом Европы. Я не про таких современников наших говорю, объясняюсь раз навсегда.

униженном положении: побежденным, раненым, пленным, — да и то условно. Я принимал участие в Крымской войне как военный врач. И тогда наши офицеры, даже казацкие, не позволяли нижним чинам обращаться дурно с пленными. Сами же начальствующие из нас, как известно, обращались с неприятелями даже слишком любезно — и с англичанами, и с турками, и с французами. Но разница и тут была большая. Перед турками никто блистать не думал. И по отношению к ним действительно во всей чистоте своей являлась русская доброта. Иначе было дело с французами. Эти сухие фанфароны были тогда победителями и даже в плену были очень развязны, так что по отношению к ним, напротив того, видна была жалкая и презренная сторона русского характера — какое-то желание заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное желание получить одобрение этой массы самоуверенных куаферов, про которых Герцен так хорошо сказал: «Он был не очень глуп, как большинство французов, и не очень умен, как большинство французов». Все это необходимо отличать, и великая разница *быть ласковым* с побежденным китайским мандарином или с индийским пария — или *расстилаться* пред французским *troupiér** и английским моряком. По отношению к азиатцам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы действительно являемся в подобных случаях теми добрыми самарянами, которых Христос поставил всем в пример. Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного источника, и, признаюсь, я расположен ее презирать. Я вспоминаю нечто о г. Зиссермане. В одном из своих политических обозрений г. Зиссерман, возмущаясь нашим, действительно, быть может, излишним кокетством с пленными турками (из которых столь многие поступали зверски с болгарами и сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен такое множество французов, почти не говорили с ними и не хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали — с этим я согласен. Именно так надо поступать с обыкновенными французами.

* солдат (фр.)

Милосердие к ним, в случае несчастья, должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и холодно-христианское. Что касается до турок и других азиатцев, которых преходящая самоуверенность в наше время не может в понимающем человеке возбуждать негодования, а скорее какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения букетов и тому подобных русских глупостей, конечно, в случае унижения и несчастья, с ними следует быть поласковее. Кстати о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведет пленных турок и, вспоминая о жестокостях, совершенных их соотечественниками, думает про себя: «а может быть, эти турки, которых я вижу, ничего такого не делали, — за что же их оскорблять?» — то я верю в это православное русское добродушие. Я понимаю, что та сторона учения Христова, которая говорит именно о прощении, то есть о самом высшем проявлении этой нравственной любви, дается русскому народу легче, чем какому-нибудь другому племени. Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придрать: у одного — лень, у другого — все слабовато, в том числе и мстительность и гордость не выразительны; третий — сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого — равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки. И распространению христианства служили не одни только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия и в немощах наших познается». Но когда наш харьковский европеец или калужская француженка любезничают с унылым или угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю, этот европейский Петр Иванович или эта французская Агафья Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти, что у них, хотя полусознательно, но мелькают в уме газеты, западное общественное мнение, «вот мы какие милые и цивилизованные!» Тогда как по-настоящему надобно сказать себе: «Какое нам дело до того, что о нас *думает* Европа?» Когда же мы это поймем?!

Итак, говорю я, любовь может быть прежде всего двоякая: *нравственная*, или *сострадательная*, и *эстетическая*, или *художественная*. Нередко, я сказал, они действуют смешанно.

В речи г. Достоевского, по поводу Пушкина, эти два чувства — совершенно разнородные и в жизненной практике чрезвычайно легко отделимые — вовсе не различены. А это очень важно. Лермонтов и другие кавказские офицеры, сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам мы видим и у староверов казаков, описанных гр. Львом Толстым. Этот же романист представил нам примеры подобных двойственных отношений русского дворянства к французам в эпоху наполеоновских войн. Черкесы эстетически нравились русским, противникам своим. Русское дворянство времени Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а следовательно, и *лично*) на каждом шагу.

Речь г. Достоевского очень хороша в чтении, но тот, кто *видал самого автора и кто слышал, как он говорит*, тот легко поймет восторг, охвативший слушателей... Ясный, острый ум, вера, смелость речи... Против всего этого трудно устоять сердцу. Но возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно *доброе* чувство к людям без особых, определенных, в одно и то же время *вещественных* и *мистических*, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, — вот вопрос?

Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и веко-вечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, — вот та *осязательно-мистическая* точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на *этой* земле обещают нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде кажущейся *неудачи* евангельской проповеди на земном шаре, ибо *близость конца* должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами...

«Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1-е посл. к Фессал. гл. 5, 3).

И еще: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.

Ибо многие придут *под именем Моим* и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.

Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь: *ибо надлежит всему тому быть*; но это еще не конец.

Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам.

Все же это начало болезней» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 4, 5, 6, 7, 8).

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь.

Претерпевший же до конца спасется. *И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.*

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет...» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 12, 13, 14, 15).

И так далее.

Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что Христос пророчествовал не *гармонию* всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение. Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала.

Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел напоминанием о «светопреставлении» уязвить христианство; но это, как ему угодно, указание на эту *существенную сторону христианского учения* здесь очень кстати.

Итак, пророчество всеобщего примирения *людей о Христе* не есть православное пророчество, а какое-то *общегуманитарное*. Церковь *этого мира* не обещает, а кто «преслушает Церковь, тебе, тот пусть будет как язычник и мытарь» (то есть

чужд тебе как вредный своим примером человек; конечно, до тех пор, пока он не исправится и не обратится).

Возвратимся к европейцам... Прежде, например, чем полюбить кого-либо из европейских либералов и радикалов, надо *бояться Церкви*.

Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть *страх*, а любовь — только *плод*. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом. Тут даже кстати можно продолжить с успехом именно это уподобление. Правда, плод или часть плода (семя) зарывается в землю так, что оно становится невидимым и *перерождается* в корень и другие части растения. В таком смысле я могу, например, полюбить даже и самого Гамбетту!.. Каким образом? Очень простым. Говорят, что один из самых пылких и, конечно, не робких жирондистов (кажется, Isnard), спасаясь от гильотины, пробыл несколько дней в каменоломнях и от мучений (страха) стал христианином. Вот если бы Гамбетта, вследствие какого-нибудь подобного потрясения, захотел «облечься во Христа», пошел бы к священнику и сказал: «Отец мой, я понял, что республика — вздор, что свобода — изношенная пошлость, что нация наша, прежде действительно великая, теперь недостойна больше внимания, и сам себе я кажусь так глуп и так низок, что умираю от стыда и тоски, — научите меня... Обратите меня... Я знаю, что христианину необходимо *усилие воли и скромность ума* перед вашим учением... Я согласен принять все, даже и то, что мне противно и с чем отвратительная отупелость моего разума, воспитанного верой в прогресс, согласиться не может. Я в принципе решаюсь всякое сочувствие этому смешному, либеральному разуму считать заблуждением, ошибкой, *tentation*...» * « и т.д.

Вот в таком случае я понимаю, что можно было бы полюбить Гамбетту всем сердцем и всюю душой, «как самого себя», — полюбить его в одно и то же время и нравственно, и эстетически, — полюбить и с умственным восхищением, и с умилением сердечным... Теперь же, каюсь, я, считая себя не менее кого бы

* Соблазн, искушение (фр.)

то ни было вправе называться русским человеком, при всей доброй воле моей, никак не могу ни умиляться, ни восхищаться, думая об этом энергическом воздухоплавателе... А он еще самый крупный и занимательный, кажется, из нынешних граждан *самой европейской* из наций Западной Европы.

Или возьмем пример ближе. Трудно себе представить, чтобы который-нибудь из наших умеренных либералов «озарился светом истины»... Но все-таки представим себе обратный процесс. Вообразить себе, что не страх довел которого-нибудь из них, как Isnard'a, до премудрости, а премудрость довела до страха рядом умозаключений ясных, но *не в духе времени* (с которым «живая» мысль принуждена считаться, но уважать который она вовсе не обязана). Трудно себе это представить, положим. Для того чтобы *в наше время* члену плачевной интеллигенции нашей стать тем, что зовется вообще «мистиком», — надо иной калибр ума, чем мы видим у подобных профессоров и фельетонистов. Но положим... положим, что либерал дошел премудростью человеческою до страха Божия... Ведь я сказал уже: сила Господня и в немощах наших нередко познается; русские либералы немощны, но Бог силен. Дошли они премудростью до страха и смирились — живут в томлении кроткого прозелитизма, писать вовсе перестали... Как бы они все были тогда привлекательны и милы!.. Сколько уважительного и теплого снисхождения возбуждали бы тогда эти скромные люди!..

Но теперь их даже *не следует любить*; мириться с ними не должно... Им должно желать добра лишь в том смысле, чтоб они опомнились и изменились, — то есть самого *высшего добра*, идеального... А если их поразят несчастья, если они потерпят гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже немного и порадоваться *в надежде на их нравственное исцеление*. Покойный митрополит Филарет находил, что телесное наказание преступников полезно для их духовного настроения, и потому он стоял за телесное наказание*.

* Смотри книгу «Государств[енное] учение митр[ополита] Филарета».

И сам г. Достоевский почти во всех своих произведениях, исполненных такого искреннего чувства и любви к человечеству, проводит почти ту же мысль, быть может и невольно, руководимый каким-то высоким инстинктом.

Наказанные преступники, убийцы, блудные, продажные и оскорбленные женщины у него так часто являются представителями самого горячего религиозного чувства... Страдания, угрызения совести, страх, лишения и стеснения, вследствие кары земного закона и личных обид, открывают перед умом их иные перспективы... А «без преступлений и наказаний» они пребывали бы наверно в пустой гордости или зверской грубости... Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога основанной любви к людям; *а главные страдания в жизни причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие люди.* Мы нередко видим, например, что больной человек, окруженный любовью и вниманием близких, испытывает самые радостные чувства; но едва ли найдется человек здоровый, который был бы счастлив тем, что его никто знать не хочет... Поэтому и поэзия земной жизни, и условия загробного спасения — одинаково требуют не *сплошной* какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего *как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью.* Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники. Разумеется, тут естественно следует вопрос: «Кому же взять на себя роль разбойника, кому же олицетворять зло, если это не похвально?» Церковь отвечает на это *не моральным советом, обращенным к личности, а одним общеисторическим пророчеством: Будет зло!*» — говорит Церковь. Она говорит еще: «Званных много, проповедано будет Евангелие везде, но избранных будет мало; только *нудящие себя* восходят в Царствие Небесное», — потому что самая добрая, кроткая, великодушная *натура* есть дар *благодати*, дар Божий. Нам принадлежат только: *желание, искание веры, усиление, молитва против маловерия и слабости, отречение и покаяние.*

«Блажен претерпевший до конца!»

Христос, повторяю, ставил милосердие или доброту личным идеалом; Он не обещал нигде торжества *поголовного братства на земном шаре*... Для такого братства необходимы прежде всего уступки со всех сторон. А есть вещи, которые *уступить нельзя*.

II

Мнения Ф.М. Достоевского очень важны – не только потому, что он писатель даровитый, но еще более потому, что он писатель весьма влиятельный и даже весьма *полезный*.

Его искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия и честности, его частые напоминания о христианстве – все это может в высшей степени благотворно действовать (*и действует*) на читателя; особенно на молодых *русских* читателей. Мы не можем, конечно, счесть, скольких юношей и сколько молодых женщин он отклонил от сухой *политической злобы нигилизма* и настроил ум и сердце совсем иначе; но верно, что таких очень много.

Он как будто говорит им беспрестанно между строками, говорит отчасти и прямо сам, повторяет устами своих действующих лиц, изображает драмой своей; он внушает им: «Не будьте злы и сухи! Не торопитесь перестраивать по-своему гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственного сердца вашего; не раздражайтесь; *вы хороши и так, как есть*; старайтесь быть еще добрее, любите, прощайте, жалеете, верьте в Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будут хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станет несравненно сноснее, и самые несправедливости и тягости гражданской жизни смягчатся под целительным влиянием личной теплоты».

Такое высокое настроение мысли, к тому же выражаемое почти всегда с лиризмом глубокого убеждения, не может не действовать на сердца. В этом отношении к г. Достоевскому можно приложить одно название, вышедшее нынче почти из

употребления, — он замечательный *моралист*. Слово «моралист» идет к роду его деятельности и к характеру влияния гораздо более, чем название *публицист*, даже и тогда, когда он по способу изложения является не повествователем, а мыслителем и наставником, как, например, в своем восхитительном «Дневнике писателя». Он занят гораздо более *психическим строем лиц, чем строем социальным*, которым все нынче, к сожалению, так озабочены. Человечество XIX века как будто бы отчаялось совершенно в личной проповеди, в морализации прямо сердечной и возложило все свои надежды на переделку обществ, то есть на некоторую степень *принудительности* исправления. Обстоятельства, давление закона, судов, *новых экономических условий* принудят и приучат людей стать лучше... «Христианство, — думают эти современники наши, — доказало тщетными усилиями веков, что одна проповедь личного добра не может исправить человечество и сделать земную жизнь покойною и для всех равно справедливою и приятною. Надо изменить условия самой жизни; а сердца поневоле привыкнут к добру, когда зло *невозможно* будет делать».

Вот та преобладающая мысль нашего века, которая везде слышится в воздухе. Верят в *человечество*, в *человека* не верят больше.

Г-н Достоевский, по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в *самого человека*.

Нельзя не согласиться, что в этом направлении много независимости, а привлекательности еще больше...

Таким представляется дело по сравнению с односторонним и сухим социально-реформаторским духом времени.

Но то же самое представляется совершенно иначе по отношению к христианству.

Демократический и либеральный прогресс верит больше в принудительную и постепенную исправимость всецелого человечества, чем в нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору «Карамазовых», надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство обществ. *Христианство же не верит безусловно ни в то, ни в*

другое – то есть ни в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собирательного человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле.

Вот разница. Впрочем, я, может быть, дурно выразился словом *разум*... Чистый *разум*, или, пожалуй, наука, в дальнейшем развитии своем, вероятно, скоро откажется от той утилитарной и оптимистической тенденциозности, которая сквозит между строками у большинства современных ученых, и, оставив это утешительное ребячество, обратится к тому суровому и печальному пессимизму, к тому мужественному смирению с неисправимостью земной жизни, которое говорит: «Терпите! *Всем лучше никогда не будет.* Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли – вот единственно возможная на земле *гармония!* И больше ничего не ждите. Помните и то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут... Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать *когда-нибудь конец.* А если будет *конец*, то какая нужда нам так заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже непонятных нам поколений? *Как мы можем мечтать о благе правнуков, когда мы самое ближайшее к нам поколение – сынов и дочерей – вразумить и успокоить действиями разума не можем?* Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина, или разгадка земной жизни, до сих пор скрыта для нас за непроницаемою завесой; когда и великие умы и целые нации постоянно ошибаются, разочаровываются и идут совсем не к тем целям, которых они искали? Победители впадают почти всегда в те самые ошибки, которые сгубили побежденных ими, и т. д. ...*Ничего нет верного в реальном мире явлений.*

Верно только одно – точно, одно, одно только несомненно – *это то, что все здешнее должно погибнуть!* И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш – век наш! И потому терпите и заботьтесь практически

лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях: именно о ближних, а не о всем человечестве.

Вот та пессимистическая философия, которая должна рано или поздно, и, вероятно, после целого ряда *ужасающих разочарований*, лечь в основание будущей науки.

Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятностям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (то есть глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь видимо неотвратим, по крайней мере для *некоторой части человечества*.

Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (то есть представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И это как дважды два четыре вот почему: эти будущие победители устроятся или свободнее, либеральнее нас или, *напротив того*, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительное, даже *страшнее*.

В последнем случае жизнь этих *новых людей* должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях (например, на Афоне). А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет, разумеется, и свои, совсем *особые*, утешения); постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих... Но у афонского киновиата есть одна твердая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: *загробное блаженство*.

Будет ли эта мысль утешительна для людей предполагаемых экономических общежитий, этого мы не знаем.

Если же та часть человечества, которая захочет испытать на себе *блаженство* (?) вовсе новых, общественных и экономических, условий, устроится *свободнее* нашего, то она будет

повержена в состояние как бы признанной в принципе и узаконенной анархии, подобно южноамериканским республикам или некоторым городским общинам Древней Греции. Ибо социальный переворот не станет ждать личного воспитания, личной морализации всех членов будущего государства, а захватит общество в том виде, в каком *мы его знаем теперь*. А в этом виде, кажется, очень еще далеко до бесстрастия, до незлобия, до общей любви и до правды — не законом навязанной, но бьющей теплым ключом прямо из облагороженной души!.. Пусть хоть в этой передовой стране, во Франции, коммунисты подождали усиливаться до тех пор, пока все французы не станут хоть такими добрыми, умными и благородными, как герои Жорж Занд; *однако они этого ждать не хотят...*

Итак, испытавши все возможное, *даже и горечь социалистического устройства*, передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование; политическое же состояние обществ всегда отзывается и на высшей философии, и на общем, полусознательном, в воздухе бродящем мирозерцании; а философия высшая и философия инстинкта равно отзываются, рано или поздно, и на самой науке.

Наука поэтому должна будет неизбежно принять тогда более разочарованный, *пессимистический*, как я сказал, *характер*. И вот где ее примирение с *положительной религией*, вот где ее теоретический триумф: в сознании своего практического бессилия, в мужественном покаянии и смирении перед могуществом и правотою сердечной мистики и веры.

Вот о чем славянам не мешало бы позаботиться! Это не противоречит прогрессу; напротив, если понимать прогресс мысли не в духе непременно приятно-эгалитарном и любезно-демократическом, а в значении *усовершенствования* самой только *мысли*, то такое строгое и бесстрашное отношение науки к жизни земной должно быть признано за огромный шаг вперед... «Ищите утешения в чем хотите; я Бога не навязываю вам — это не мое дело, — я только говорю вам: не ищите утешения в моих прежних *радикально-благотворительных* претензиях, столь глупо волновавших прошедший XIX век. Я могу

помогать вам только *паллиативное*. Вот что бы должна говорить наука!

Верно понятый, не обманывающий себя неосновательными надеждами реализм должен, рано или поздно, отказаться от мечты о благоденствии земном и от искания идеала нравственной правды в недрах самого человечества.

Положительная религия точно так же в это благоденствие и в эту правду не верит.

Любовь, прощение обид, правда, великодушие были и останутся навсегда только коррективами жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные и даже *полезные* нам язвы. Никогда любовь и правда не будут воздухом, которым бы люди дышали, почти не замечая его... Именно – почти не замечая! Эд. Гартман справедливо говорит: «Если бы идеальная цель, преследуемая прогрессом, когда бы то ни было осуществилась, то человечество достигло бы до степени *нуля* или *полного равнодушия* ко всем отраслям своей деятельности. Но идеал останется всегда идеалом: человечество может приближаться к нему, никогда до него не достигая. Поэтому человечество и не дойдет никогда до того состояния (высокого равнодушия), к которому постоянно стремится; оно вечно пребудет в состоянии страдания еще более низкого порядка (то есть чем это *высокое равнодушие*)...»

Да и разве такое тихое равнодушие есть счастье? Это – не счастье, а какой-то тихий упадок всех чувств, как скорбных, так и радостных.

Я уверен, что человек, столь сильно чувствующий и столь *сердечно мыслящий*, как Ф.М. Достоевский, говоря о «здании человеческого счастья», о «всечеловеческом братском единении», об «окончательном слове общей гармонии» и т.д., имел в виду нечто более горячее и привлекательное, чем та кроткая, душевная «нирвана», на которую здесь указывает Гартман. А горячее, самоотверженное и нравственно привлекательное обуславливается непременно более или менее сильным и нестерпимым *трагизмом жизни*... Доказательства этому можно найти во множестве в романах самого г. Достоевского. Возь-

мом «Преступление и наказание». Вспомним потрясающее, глубокое впечатление, производимое изображением бедного семейства Мармеладовых. Нищета, пьяный, ни на что уже не годный отец; мать – тщеславная, чахоточная, сердитая, почти безумная, но в сердце честная и до наивности прямая страдальца; девушка – кроткая, милая, *верующая и торгующая собой для пропитания семьи!*.. И когда эти люди проявляют, при всем этом, высокие качества души своей, глубоко потрясенный читатель тотчас же понимает, что эта теплота, эта «психичность», этот род нравственного лиризма возможен именно при тех только буднично-трагических условиях, которые избраны автором. То же самое можно найти в изобилии и в «Братьях Карамазовых».

Мы найдем это в доме бедного капитана, в истории несчастного Илюши и его любимой собаки, мы найдем это в самой завязке драмы: читатель знает, что Дмитрий Карамазов не виновен в убийстве отца и пострадает напрасно. И вот уже одно появление следователей и первые допросы производят нечто подобное; они дают тотчас действующим лицам случайно обнаружить побуждения высшего нравственного порядка; так, например, лукавая, разгульная и даже нередко жестокая Груша только при допросе в первый раз чувствует, что она этого Дмитрия истинно любит и готова разделить его горе и предстоящие, вероятно, ему карательные невзгоды. Горести, обиды, буря страстей, преступления, ревность, зависть, угнетения, ошибки с одной стороны, а с другой – неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца! Вот *жизнь*, вот единственно возможная на этой земле и под этим небом *гармония*. *Гармонический закон вознаграждения – и больше ничего*. Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными – *и больше ничего*. В высшей степени цельная полутрагическая, полуясная опера, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и трогательными, – *и больше ничего!*

Мы не знаем, что будет на *той новой земле и на том новом небе*, которые обещаны нам Спасителем и учениками Его, по

уничтожении *этой* земли со всеми человеческими делами ее; но на земле, *теперь* нам известной, и под небом, *теперь* нам знакомым, все хорошие наши чувства и поступки: любовь, милосердие, справедливость и т. д. – являются и *должны являться всегда* лишь тем *коррективом* жизни, тем *паллиативным лечением* язв, о которых я упоминал выше.

Теплота необходима для организма, но ни единственным материалом, ни единственной жиздущей силой для организма она быть не может.

Нужны твердые, *извне стесненные формы*, по которым эта теплота может разливаться, *не видоизменяя их слишком глубоко даже и временно*, а только делая эти твердые формы полнее и приятнее.

Так говорит *реальный опыт веков*, то есть почти наука, вековой эмпиризм, не нашедший себе еще математически рационального объяснения, но и без него трезвому уму весьма ясный.

Так же точно говорит Церковь, так говорят апостолы...

Будут лжехристы и антихристы; *будут* «ругатели, поступающие по похотям своим», и т. д. (2 посл. Петра, III, 3; 1 посл. Иоанна, II, 18; посл. Иуды, 18, 19).

И под конец не только не настанет *всемирного братства*, но именно *тогда-то оскудеет любовь*, когда будет проповедано *Евангелие во всех концах земли*.

И когда эта проповедь достигнет, так сказать, до предначертанной ей свыше точки насыщения, когда, *при оскудении* даже и той любви, неполной, паллиативной (которая здесь возможна и действительна), люди станут верить безумно в «мир и спокойствие», – *тогда-то и постигнет их пагуба... «и не избегнут!...»*

А пока?

Пока «блаженны миротворцы», ибо *неизбежны распри..*}

«Блаженны алчущие и жаждущие правды»...

Ибо *правды, всеобщей здесь не будет...* Иначе зачем же алкать и жаждать? Сытый не алчет. Упоенный не жаждет.

«Блаженны милостивые», ибо всегда будет кого миловать: униженных и оскорбленных кем-нибудь (тоже *людьми*), бога-

тых или бедных, все равно, — наших собственных оскорбителей, наконец!..

Так говорит Церковь, совпадая с *реализмом*, с грубым и печальным, но глубоким опытом веков. Так, по-видимому, еще думал и сам г. Достоевский, когда писал о Мертвом доме и создавал высокое и прекрасное, в своей болезненной истине, произведение — «Преступление и наказание».

Он тогда как будто хотел *только усилить* теплоту любви своим потрясающим влиянием; он не мечтал еще, по-видимому, в то время о *невозможной реально, о чуть не еретической церковной кристаллизации* этой теплоты в *форме здания всечеловеческой жизни*.

В творениях г. Достоевского заметна в отношении религиозном одна весьма любопытная постепенность. Эту постепенность легко проследить в особенности при сравнении трех его романов: «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы». В первом представительницею религии являлась почти исключительно несчастная дочь Мармеладова (торговавшая собою по нужде); но и она читала *только* Евангелие... В этом еще мало православного — Евангелие может читать и молодая англичанка, находящаяся в таком же положении, как и Соня Мармеладова. Чтобы быть православным, *необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения*; а иначе из самого Священного Писания можно извлечь и скопчество, и лютеранство, и молоканство и другие лжеучения, которых так много и которые все сами себя выводят прямо из Евангелия (или вообще из Библии). Заметим еще одну подробность: эта молодая девушка (Мармеладова) как-то *молебнов* не служит, *духовников* и *монахов* для совета не ищет; к *чудотворным иконам* и *мощам* не прикладывается; отслужила только панихиду по отце. Тогда как в *действительной жизни* подобная женщина непременно все бы это сделала, если бы только в ней проснулось живое религиозное чувство... И в самом Петербурге, и поблизости все это можно ведь найти... И вероятнее даже, что жития св. Феодоры, св. Марии Египетской, Таисии и преподобной Аглаиды были бы в ее руках гораздо чаще Евангелия. Видно из этого, что г. Достоевский в то время,

когда писал «Преступление и наказание», очень мало о настоящем (то есть о *церковном*) христианстве думал. В «Бесах» немного получше. Является перед читателем на площади *икона*, чтимая «народом». Автор видимо негодует на нигилистов, позволивших себе оскорбить эту *народную* святыню, — *и только*. Из высшего или из образованного круга русских действующих лиц многие и много говорят о Боге, о Христе («о Нем»), — говорят хорошо, красноречиво, пламенно, с большою искренностью, но все-таки не совсем православно, не святоотечески, не *по-церковному*... Все эти речи с точки зрения религиозной не что иное, как прекрасное, благоухающее «млеко», в высшей степени полезное *для начала* тому, кто вовсе забыл думать о Боге и Христе; но только «начало пути», только «млеко», а *твердую и настоящую пищу православного христианства* человек познает тогда, когда начнет с *трепетным* и до сердечного, так сказать, своекорыстия живым интересом читать Иоанна Златоуста, Филарета Московского, жития святых, Варсонофия Великого, Иоанна Лественника, переписку оптинских наставников, Макария и Антония, с их духовными детьми, мирянами и монахами.

Правда, эпиграфом к роману «Бесы» выбран евангельский рассказ об исцелении бесноватого, который, *исцелившись, сел у ног Христа*, а бесы, бывшие в нем, вошли в свиней, кинувшихся в море... «Бесноватый» олицетворяет в этом случае у г. Достоевского *Россию*, которая тогда исцелится от всех недугов своих, лично нравственных и общественных, когда станет более христианскою *по духу своему нацией* (разумеется, в лице своих образованных представителей). Но и это весьма неясно... *Какое* христианство: общеевангельское какое-то или в самом деле православное, с верой в икону Иверской Божией Матери, в мощи св. Сергия, в проповеди Тихона Задонского и Филарета*, в прозорливость и святую жизнь некоторых и ныне живущих монахов?..

* Примеч. 1885 г.: Даже и в его духовный авторитет по государственным вопросам. Еще раз позволяю себе обратить внимание читателей на ту весьма полезную книгу, о которой я уже упоминал один раз: Государственное учение Филарета (Митроп. Московского).

Какое же *именно* христианство спасет будущую Россию: первое, неопределенно-евангельское, которое непременно будет искать *форм*, – или второе, с определенными формами, всем, хотя с виду (если не по внутреннему смыслу), знакомыми?..

На это мы в «Бесах» не найдем и тени ответа!

«Братья Карамазовы» уже *гораздо ближе* к делу. Видно, что автор сам шел хотя и несколько медленно, но все-таки по довольно правильному пути. Он приближался все больше и больше к *Церкви*.

В романе «Братья Карамазовы» весьма значительную роль играют православные монахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением; некоторые из действующих лиц высшего класса признают за ними особый духовный авторитет. Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар «прозорливости» (в пророческом земном поклоне его Дмитрию Карамазову, который должен в будущем быть по ошибке обвинен судом в отцеубийстве) и т. д.

Правда, и в «Братьях Карамазовых» монахи говорят не совсем то или, точнее выражаясь, *совсем не то*, что в действительности говорят *очень хорошие* монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские. Правда, и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна... *Отшельник и строгий постник*, Ферапонт, мало до людей касающийся, *почему-то* изображен неблагоприятно и насмешливо... *От тела* скончавшегося старца Зосимы *для чего-то* исходит *тлетворный дух*, и это смущает иноков, считавших его святым.

Не так бы, положим, обо всем этом нужно было писать, оставаясь, заметим, даже вполне на «почве действительности». Положим, было бы гораздо лучше сочетать *более сильное мистическое чувство с большею точностью реального изображения*: это было бы правдивее и полезнее, тогда как у г. Достоевского и в этом романе *собственно мистические чувства* все-таки выражены слабо, а чувства *гуманитарной идеализа-*

ции даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно.

Все это так. Однако, сравнивая «Братьев Карамазовых» с прежними произведениями г. Достоевского, нельзя было не радоваться, что такой русский человек, столь даровитый и столь искренний, все больше и больше *пытается выйти* на настоящий церковный путь; нельзя было не радоваться тому, что он видимо стремится замкнуть наконец в определенные и священные для нас формы лиризм своей пламенной, но своейвольной и все-таки неясной морали.

Еще шаг, еще два, и он мог бы подарить нас творением истинно великим в своей поучительности.

И вдруг эта *речь*! Опять эти «народы Европы»! Опять это «последнее слово всеобщего примирения»!

Этот «всечеловек»!

— И *ты тоже*, Брут!

Увы, и *ты тоже*!..

Из этой речи, на празднике Пушкина, для меня по крайней мере (признаюсь), совсем неожиданно оказалось, что г. Достоевский, подобно великому множеству *европейцев* и русских *всечеловеков*, все еще верит в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам, русским, быть может и скоро, придется утонуть и расплыться бесследно в безличном океане космополитизма.

Именно бесследно! Ибо что мы принесем на этот (по-моему, скучный до отвращения) *пир всемирного* однообразного братства? Какой *свой*, ни на что чужое не похожий, след оставим мы в среде этих *смешанных людей грядущего*... «толпой»... если не всегда «угрюмою»... то «скоро позабытой»...

Над миром мы пройдем без шума и следа, —

Не бросивши векам ни мысли плодovitой,

Ни гением начатого труда...

Было нашей нации поручено одно великое сокровище — строгое и неуклонное церковное православие; но наши лучшие умы не хотят просто «смиряться» перед ним, перед его *исключо-*

чительностью» и перед тою *кажущейся сухостью*, которую всегда веет на романтически воспитанные души от всего установившегося, правильного и твердого. Они *предпочитают «смиряться»* перед учениями антинационального эвдемонизма, в которых по отношению к Европе даже и нового нет ничего. Все эти надежды на земную любовь и на мир земной можно найти и в песнях Беранже, и еще больше у Ж. Занд, и у многих других.

И не только имя Божие, но даже и *Христово имя* упоминалось и на Западе по этому поводу не раз.

Слишком *розовый* оттенок, вносимый в христианство *этою* речью г. Достоевского, есть *новшество* по отношению к Церкви, от человечества ничего особенно благотворного в будущем не ждущей; но этот оттенок не имеет в себе ничего – ни особенно русского, ни особенно нового по отношению к преобладающей европейской мысли XVIII и XIX веков.

Пока г. Достоевский в своих романах говорит *образами*, то, несмотря на *некоторую личную примесь* или *лирическую субъективность* во всех этих образах, видно, что художник вполне и более многих из нас – *русский человек*.

Но выделенная, извлеченная из этих русских образов, из этих русских обстоятельств чистая мысль в этой последней речи оказывается, как почти у всех лучших писателей наших, почти вполне европейскою по идеям и даже по происхождению своему.

Именно мыслей-то мы и не бросаем до сих пор векам!..

И, размышляя об этом печальном свойстве нашем, конечно, легко поверить, что мы скоро расплывемся бесследно во всем и во всех.

Быть может, это так и нужно; но чему же тут радоваться?.. Не могу понять и не умею!..

III

Итак (скажет мне кто-нибудь), вы позволяете себе отрицать не только возможность повсеместного «воцарения правды»,

«мирной гармонии» и «благоденствия» на земле, но даже как будто противопоставляете все это христианству как вещи с ним несовместные, изображаете все это чуть-чуть не антитезами его... Вы забыли даже катехизис, в котором всегда приводится текст: «Бог любви есть...».

«Писатель, которого вы сами высоко цените и которого вы в начале предыдущего письма назвали не только даровитым и вполне русским, но и весьма полезным, шаг за шагом, слово за словом, явился у вас под конец того же письма человеком, почти вредным своими заблуждениями, *чуть-чуть не еретиком!*...» Но чего же вы хотите после этого? Чего же вы требуете от России нашей и от нас самих?

О воцарении «правды» и «благоденствия» на земле я не буду здесь много говорить, потому что по этому вопросу все люди, мне кажется, разделяются, очень просто, на расположенных этому идеалу верить и на пожимающих только плечами при подобной мысли, противной одинаково *и реальным законам природы, и всем главным и самым влиятельным из известных нам положительных религий.*

Для убеждения первых (то есть верующих в «благоденствие» и «правду») нужно говорить долго и подробно, а это невозможно в статье или письме, имеющем специальную цель; вторые же (не расположенные этому верить) поймут меня и с полуслова. Это – о всемирном «благоденствии» и о человеческой «правде».

О «гармонии» я постараюсь сказать особо, если успею, потому что слово «гармония» я понимаю, по-видимому, иначе, чем г. Достоевский и многие другие современники наши. Теперь же объяснюсь примером, кратко и мимоходом. Пушкин сопровождает Паскевича на войну; присутствует *при сражениях. Много людей убито, ранено, огорчено и разорено.* Русские победителями вступают в Эрзерум. Сам поэт испытывает, конечно, за все это время множество *сильных и новых ощущений.* Природа Кавказа и Азиатской Турции; вид *убитых и раненых; затруднения и усталость* походной жизни; возможность *опасности*, которую Пушкин так рыцарски любил; удовольст-

вия штабной жизни при торжествующем войске; даже *незнакомое ему дотоле* наслаждение восточных бань в Тифлисе... После всего этого, или под влиянием всего этого (в том числе и под влиянием крови и тысячи смертей), Пушкин пишет какие-нибудь прекрасные стихи в восточном стиле.

Вот *это гармония*, примирение антитез, но не в смысле мирного и братского *нравственного согласия*, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и *в жизни самой*, и в искусстве.

Борьба двух великих армий, взятая отдельно от всего побочного во всецелости своей, есть проявление *«реально-эстетической гармонии»*...

А если бразильский император сидит в Петербурге за столом в обществе русских ориенталистов, до того уже все восточное давно утративших (положим), что их очень трудно отличить со стороны от любого европейского бюргера, — то это не столько гармония, сколько *унисон*, очень мирный *унисон*, скучный, немного деревянный и очень бесплодный, то есть на нравы и понятия *самых ориенталистов практически не действующий, их более восточными и оригинальными людьми не делающий*. При таком понимании слова «гармония» я не могу и говорить о ней в смысле не гармонического или не эстетического братства однообразных народов будущего, если бы я даже в это братство имел право верить и *как реалист, и как христианин*.

В глазах реалиста, то есть человека, не имеющего права делать предсказания без предыдущих, даже и приблизительных, примеров, подобное благоденственное братство, доводящее людей даже до субъективного постоянного удовольствия, не согласуется ни с психологией, ни с социологией, ни с историческим опытом. В глазах христианина подобная мечта противоречит *прямому и очень ясному* пророчеству Евангелия об ухудшении человеческих отношений *под конец света*.

Братство *по возможности* и гуманность действительно рекомендуются Священным Писанием Нового Завета *для загробного спасения личной души*; но в Священном Писании *нигде не*

сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал... Это неправда: Христос приказывает, или советует, всем любить ближних во имя Бога; но, с другой стороны, пророчествует, что Его многие не слушают.

Вот в каком смысле гуманность новоевропейская и гуманность христианская являются несомненно антитезами, даже очень трудно примиримыми (или примиримыми эстетически, только в области поэзии, как *жизненной*, так и *художественной*, то есть в смысле *увлекательной и многосложной борьбы*). Удивляться этому или ужасаться такой мысли не следует. Это очень понятно, хотя и печально. Гуманность есть идея *простая*; христианство есть представление *сложное*. В христианстве между *многими другими* сторонами есть и гуманность, или любовь к человечеству «о Христе», то есть не из нас прямо истекающая, а *Христом даруемая и Христа за ближним провидящая*, — *от Христа и для Христа*. Гуманность же простая, «автономическая», шаг за шагом, мысль за мыслью может вести к тому сухому и самоуверенному утилитаризму, к тому эпидемическому умопомешательству нашего времени, которое можно психиатрически назвать *mania democratica progressive**. Все дело в том, что мы претендуем *сами по себе*, без помощи Божией, быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнее, быть полезными. Я говорю — ошибочнее, ибо доброту еще свою, порывы искренней любви и милосердия человек не может не чувствовать — это *факт невольного сознания*. Но как быть уверенным в пользе не только всем, но и многим? Спасая одного, я, может быть, врежу кому-нибудь другому. Христианство мирит это легко именно тем, что, с одной стороны, не верит в прочность и постоянство автономических добродетелей наших, а с другой — долгое благоденствие и покой души считает вредным. Оскорбителю оно говорит: «Кайся: ты согрешил». Оскорбленному внушает: «Эта обида тебе полезна; рукой неправедного человека наказал тебя Бог; прости человеку и кайся перед Богом».

* Мания демократии и прогресса (лат.)

Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет даже иногда *посещением Божиим*.

А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти *полезные* нам обиды, разорения и горести...

В этом отношении христианство и гуманность можно уподобить двум сильным поездам железной дороги, вышедшим сначала из одного пункта, но которые, вследствие постепенного уклонения путей, должны не только удариться друг об друга, но даже и прийти в сокрушающее столкновение*.

Во всех духовных сочинениях, правда, говорится о любви к людям. Но во всех же подобных книгах мы найдем также, что *начало премудрости* (то есть религиозной и *истекающей из нее* житейской премудрости) есть «страх Божий», простой, *очень простой страх* и загробной муки и других наказаний в форме земных истязаний, горестей и бед.

Отчего же г. Достоевский не говорит *прямо об этом страхе*? Не потому ли, что *идея любви привлекательнее*? Любовь красит человека, а страх унижает. Но, во-первых, перед христианским учением добровольное унижение о Господе (то есть самое «смирение», которое так уважает и г. Достоевский) лучше и *вернее для спасения души*, чем эта гордая и невозможная претензия ежечасного незлобия и ежеминутной *елейности*. Многие праведники предпочитали удаление в пустыню *деятельной любви*; там они *молились Богу сперва* за свою душу, а *потом* за других людей; многие из них это делали потому, что очень правильно не надеялись на себя и находили, что покаяние и молитва, то есть *страх и своего рода унижение*, вернее, чем претензия *мирского незлобия* и чем *самоуверенность деятельной любви* в многолюдном обществе. Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельною и горячею любовью, а прежде всего

*Уподобление это принадлежит не мне; но оно так прекрасно, что я хотел непременно воспользоваться им. Оно принадлежит Прево-Парадолю, застрелившемуся в Америке. Он прилагал его к Франции и Германии еще до войны 1870 года и предсказывал поражение своей отчины.

учат послушанию, принижению, пассивному прощению обид... И это все считается до невероятности трудным, в особенности для тех людей, которые воображают себя уже «смирненными» и в «миру» *собственными усилиями* для монастыря подготовленными. Случаями поразительного падения этих духовных Икаров, нередко весьма искренних и благородных, наполнена история монашества от начала его и до нашего времени.

Да, прежде всего *страх*, потом «смирение»; или прежде всего — *смирение ума*, презрительно относящегося не к себе только одному, но и ко всем другим, даже и гениальным человеческим умам, беспрестанно ошибающимся.

Такое смирение шаг за шагом ведет к вере и страху пред именем Божиим, к *послушанию учению* Церкви, этого Бога нам поясняющей. *А любовь — уже после*. Любовь кроткая, себе самому приятная, другим отрадная, всепрощающая — это плод, венец: это или награда за веру и страх, или особый дар благодати, *натуре* сообщенный, или случайными и счастливыми условиями воспитания укрепленный. Как в особый дар благодати я охотно верю искренности и любви, когда дело идет, например, о самом ораторе, то есть о натуре высоко одаренной; но совсем другое я чувствую, когда я думаю о большинстве слушателей его, восхищавшихся, я уверен, *больше любовью к Европе, чем любовью ко Христу и действительно к ближнему...*

Есть, однако, в числе разных многочисленных родов и оттенков человеческой любви один особый род, который может и неверующего и несмиренного человека *своим* путем привести и к вере, и к смирению, а потом даже и к той любви человечества о *Боге*, которой достигали столь немногие во все времена, да и то приблизительно, подобно тому как к квадратуре круга приближается подвижной многоугольник, к полному и неподвижному кругу Божественной чистоты.

Но об этой любви я не стану говорить своими словами. Прежде меня и лучше меня сказал о ней, почти в одно время с г. Достоевским, другой русский христианин, в речи менее прославленной, но в одном отношении более правильной, чем речь г. Достоевского.

Я говорю о К.П. Победоносцеве. Почти в то самое время, когда в Москве так шумно праздновали память Пушкина, ели, пили, убирали памятник венками, рукоплескали, плакали и даже падали в обморок, радуясь, что мы наконец-то «созрели» или, вернее, *перезрели* до того, что нам остается только заклать себя на алтаре всечеловеческой (то есть просто европейской) демократии, этот русский христианин, о котором я вспомнил, один, по должности своей, счастливо совпадающей с его чувствами и призванием, посетил далекую Ярославскую епархию, и там, на выпуске в училище для дочерей священно- и церковнослужителей, состоявшем под покровительством в Бозе почившей императрицы, сказал слово, которое «Московские ведомости» по справедливости назвали прекрасным и возвышенным и которое я бы желал назвать *благородно-смирненным*.

Вот отрывки из этой речи. Сперва г. Победоносцев говорит о том, как поминать покойную их покровительницу: «Она сама завещала всем любящим ее *помянуть ее на литургии, когда приносится бескровная Жертва на престоле Господнем...*»

«До последних дней жизни она поминала с глубокою признательностью тех, кто ввел ее в Церковь и показал ей *нашу церковную красоту. Любите вы выше всего на свете нашу святую Церковь так, как любит человек, однажды узнавши, верховную красоту и ничего не хочет променять на нее...*»

И еще:

«Только чрез Церковь можете вы сойтись с народом просто и свободно и войти в его доверие».

Потом:

«Одно прочно – простые дела милосердия алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть, а выше всего темную душу осветить светом богопознания, холодную согреть огнем любви, – вот дела, которые пойдут вслед за нами».

В чем же разница между этими двумя речами, одинаково прекрасными в ораторском отношении?

И там «Христос», и здесь «Божественный Учитель». И там и здесь – «любовь и милосердие». Не все ли равно? Нет, разница большая, расстояние неизмеримое...

Во-первых, в речи г. Победоносцева Христос познается не иначе как *через Церковь*: «любите прежде всего Церковь». В речи г. Достоевского Христос, *по-видимому* по крайней мере, до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе, даже не справясь с азбукой катехизиса, то есть с самыми *существенными* положениями и *безусловными* требованиями православного учения, приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания «всеобщего братства народов», «повсеместного мира» и «гармонии».

Во-вторых – о «милосердии и любви». И тут для внимательного ума большая разница. «Милосердие» г. Победоносцева – это *только личное* милосердие, и «любовь» г. Победоносцева – это именно та непритязательная любовь к «ближнему» – именно к *ближнему*, к *ближайшему*, к *встречному*, к тому, кто под рукой, – милосердие к *живому, реальному* человеку, которого слезы мы видим, которого стоны и вздохи мы слышим, которому руку мы можем пожать действительно как брату в *этот час*... У г. Победоносцева нет и намека на собирательное и отвлеченное человечество, которого многообразные желания, противоположные потребности, друг друга борющиеся и исключаящие, мы и представить себе не можем даже и в настоящем, не только в лице грядущих поколений...

У г. Победоносцева это так ясно: любите Церковь, ее учение, ее уставы, обряды, *даже догматы*, (да, даже *сухие* догматы можно, благодаря вере, любить донельзя!). Будет вам *приятна церковь*, или (скажем проще) понравится вам ходить почаще к обедне или посещать *внимательно* монастыри – вы захотите лучше понять учение; понявши учение, будете, *по мере сил вашей натуры*, жить по-христиански или по крайней мере понимать все по-христиански, как понимал по-христиански столь *дурно живший мытарь*. Церковь скажет вам вот что: «Не претендуйте постоянно пылать и пылать любовью...» Дело вовсе не в ваших высоких порывах, *которыми вы восхищаетесь*, – дело, напротив того, в покаянии и даже в некотором унижении ума. Не берите *на себя лишнего*, не возносите все этими высокими и высокими порывами, в которых кроется часто столько гордости, тщеславия, честолюбия. Будьте свободолюбивы,

если вам угодно, на почве политической (хотя и это не совсем правильно, ибо апостол говорит, что даже иноверному и несправедливому начальству надобно повиноваться), но ради Бога, на почве религиозной учитесь скромно у Церкви и, даже еще проще и прямее говоря, учитесь у русского духовенства, у этого сословия столь несовершенного и нравственно, и умственно. Оно весьма несовершенно, это правда; быть может, оно по условиям исторического воспитания вышло несколько суше, несколько грубее нас, *по-дворянски* воспитанных мирян, это правда... Но оно *знает учение* Церкви; и даже (путей у Бога много!) самая эта сухость его могла располагать его сопротивляться *порывистым новшествам*. И еще: разве для горячих порывов необходимы только новшества? Или разве православие еще не достаточно у нас забыто и в светском обществе, и в ученом, чтобы не иметь возможности стать опять новым и увлекательным?.. Прекрасный сосуд не разбит еще, не расплавлен дотла на пожирающем огне европейского прогресса. Вливайте в него утешительный и укрепляющий напиток вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты, и *только*, — и вы будете правы.

По-видимому, в некоторых местах речи своей г. Достоевский говорит почти в том же смысле, в исключительно личном. В этих местах он является *по-прежнему* вполне христианином — только христианином, *чего-то ясно и прямо не договорившим и что-то другое, лишнее* вместе с тем *пересказавшим*.

Например:

«Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость! Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной «ниве»... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и *других свободными сделаешь, и узришь счастье*, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган

и нигде *мировая гармония*, если ты первый сам ее не достоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить».

Недоговорено тут малости: *не упомянуто о самом существенном — о Церкви*.

Пересказано лишнее — о какой-то окончательной (?) гармонии.

Но оставим эту гармонию, о которой я уже говорил и которая испортила, по-моему, все прекрасное дело Ф. М. Достоевского. Посмотрим лучше, что такое это смирение перед «народом», перед «верой и правдой», которому и прежде многие нас учили.

В этих словах: *смирение перед народом* (или как будто перед мужиком в специальности) — есть нечто очень сбивчивое и отчасти ложное. В чем же смиряться перед простым народом, скажите? Уважать его телесный труд? Нет; всякий знает, что не об этом речь: это само собою разумеется и это умели понимать и прежде даже многие из рабовладельцев наших. Подражать его нравственным качествам? Есть, конечно, очень хорошие. Но не думаю, чтобы семейные, общественные и вообще *личные*, в тесном смысле, качества наших простолюдинов были бы все уж так достойны подражания. Едва ли нужно подражать их сухости в обращении со страдальцами и больными, их немилосердной жестокости в гневе, их пьянству, расположению столь многих из них к постоянному лукавству и даже воровству... Конечно, не с этой стороны советуют нам перед ним «смиряться». Надо учиться у него «смиряться» *умственно, философски смиряться, понять, что в его мировоззрении больше истины, чем в нашем...*

Уж одно то хорошо, что наш простолюдин Европы не знает и о благоденствии общем не заботится: когда мы в стихах Тютчева читаем о долготерпении русского народа и, задумавшись, внимательно спрашиваем себя: «В чем же именно выражается это долготерпение?» — то, разумеется, понимаем, что не в одном физическом труде, к которому народ так привык, что ему долго быть без него показалось бы и скучно (кто из

нас не встречал, например, рабочих и кормилиц в городах, скучающих по пашне и сенокосу?..). Значит, не в этом дело. Долготерпение и смирение русского народа выражались и выражаются отчасти в охотном повиновении властям, иногда несправедливым и жестоким, как всякие земные власти, отчасти в преданности учению Церкви, ее установлениям и обрядам. Поэтому смирение перед народом для отдающего себе ясный отчет в своих чувствах есть не что иное, как *смирение перед тою самою Церковью, которую советует любить г. Победоносцев.*

И эта любовь гораздо осязательнее и понятнее, чем любовь *ко всему человечеству*, ибо от нас зависит узнать, чего хочет и что требует от нас эта Церковь. Но чего завтра пожелает не только все человечество, но хоть бы и наша Россия (утрачивающая на наших глазах даже прославленный иностранцами государственный инстинкт свой), этого мы понять не можем наверно. У Церкви есть *свои незыблемые правила* и есть *внешние формы* – тоже свои собственные, особые, ясные, видимые. У русского общества нет теперь ни *своих* правил, ни *своих* форм!..

Любя Церковь, знаешь, чем, так сказать, «угодить» ей. Но как угодить человечеству, когда входящие в состав его миллионы людей между собою не только не согласны, но даже и *не согласимы вовек?*..

Эта вечная несогласимость нисколько не противоречит тому стремлению к однообразию в идеях, воспитании и нравах, которое мы видим теперь повсюду. *Сходство прав и воспитания только уравнивает претензии, не уменьшая противоположности интересов*, и потому только усиливает возможность столкновения.

Любить Церковь – это так понятно!

Любить же *современную Европу*, так жестоко преследующую даже у себя римскую Церковь, – Церковь все-таки, великую и апостольскую, несмотря на все глубокие догматические оттенки, отделяющие ее от нас, – это просто грех!

Отчего же в нашем обществе и в *безыдейной* литературе на-

шей не было заметно сочувствия ни к Пию IX, ни к кардиналу Ледоховскому, ни к западному монашеству вообще, теперь везде столь гонимому? Вот бы в каком случае могли совместиться и христианское чувство, и художественное, и либеральное.

Ибо, с другой стороны, католики – это единственные представители христианства на Западе (и об этом прекрасно писал тот самый Тютчев, который хвалил долготерпение русского народа); с другой – истинная гуманность, живая, непосредственная, не может относиться только к работнику и раненому солдату.

Человек высокого звания, оскорбляемый и гонимый толпою, полководец побежденный, подобно Бенедекку или Осман-паше, может пробудить очень живое и глубокое чувство почтительного сострадания в сердцах неиспорченных односторонними демократическими «сентиментами».

А поэзии, конечно, в папе и Ледоховском больше, чем в дерзком и в дюжинном западном работнике.

Я думаю, если бы Пушкин прожил дольше, то был бы за папу и Ледоховского, даже за Дон Карлоса... Революционная современность претворяет в себя постепенно всю ту старую и поэтическую разнообразную Европу, которую наш поэт так любил, конечно не нравственно-доброжелательным чувством, а прежде всего художественным, каким-то пантеистическим...

Я вспоминаю одну отвратительную картинку в какой-то иллюстрации, кажется в «Gartenlaube»: сельский мирный ландшафт, кусты, вдали роща, у рощи скромная церковь (католическая). На первом плане политапажа крестный ход; старушки набожные, крестьяне без шляп; в позах и на лицах именно то «смирение», которое и в нашем простолюдине в подобных случаях нас трогает. Впереди – сельское духовенство с хоругвями. Но эти добрые, эти «смиранные перед Христом» люди не могут дойти до Его храма. Поезд железной дороги остановился зачем-то на рельсах, и шлагбаум закрыт. Им нужно долго ждать или обходить далеко. Прямо в лицо священникам, опершись на перила вагона, равнодушно глядит какой-то бородатый блузник.

Политипаж был видимо составлен с насмешкой и злорадством...

О, как ненавистно показалось мне спокойное и даже красивое лицо этого блузника!

И как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание г. Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!» – воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне сочувствующих: «О, как мы ненавидим тебя, *современная Европа*, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоем заразительным дыханием!..»

Если такого рода ненависть – «грех», то я согласен остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью к Церкви... Я говорю – «к Церкви», даже и католической, ибо если б я не был православным, желал бы, конечно, лучше быть верующим католиком, чем эвдемонистом и либерал-демократом!!! Уж это слишком мерзко!..

Примечание 1885 года

Есть люди, весьма почтенные, умные и Достоевского близко знавшие, которые уверяют, что он этою речью имел в виду выразить *совсем не то*, в чем я его обвиняю; они говорят, что у него при этом были даже некие *скрытые мечтания апокалипсического характера*. Я не знаю, что Ф. М. думал и что он говорил в частных беседах с друзьями своими; это относится к интимной биографии его, а не к публичной *этой* речи, в которой и тени намек нет на что-нибудь не только «апокалипсическое» (то есть *далее* определенного учения Церкви идущее), но и вообще очень мало истинно религиозного – гораздо меньше, чем в романе «Братья Карамазовы». Так как в недостатке смелости и независимости Ф. М. Достоевского уж никак обвинять нельзя, то эту речь надо, по моему мнению, считать просто ошибкой, необдуманностью, промахом какой-то нервной торопливости; ибо в его собственных сочинениях,

даже и ранних, можно найти много мыслей, совершенно с этим культом «всечеловека», «Европы» и «окончательной гармонии» несовместных.

Например, в «Записках из подполья» есть чрезвычайно остроумные насмешки именно над этой окончательною гармонией или над благоустройством человечества. Если Достоевский имел в виду все-таки *что-то другое*, так надо было прямо это сказать и хоть намекнуть на это, а то по чему же люди могут догадаться, что такой умный, даровитый, опытный и смелый человек говорит в этой речи одно, а думает другое, — говорит нечто очень простое, до плоскости простое, а *думает о* чем-то очень таинственном, очень оригинальном и очень глубоком?.. Догадаться невозможно.

Нередко, впрочем, случается и то, что писатель сам в жизни уже дозрел до известной идеи и до известных чувств, но эти идеи и чувства его еще не дозрели до литературного (или ораторского — все равно) *выражения*. Он еще не нашел для них соответственной формы.

Я готов верить, что, поживи Достоевский еще два-три года, он *еще гораздо ближе*, чем в «Карамазовых», подошел бы к Церкви и даже к монашеству, которое он любил и уважал, хотя, видимо, очень мало знал и больше все хотел учить монахов, чем сам учиться у них.

Лично я слышал, он был человек православный, в храм Божий ходил, исповедовался, причащался и т. д.; он дозрел, вероятно, сердцем до элементарных, так сказать, верований православия, но писать и проповедовать правильно еще не мог; ему еще нужно бы учиться (просто у духовенства), а он спешил учить!

Впрочем, большинство наших образованных людей, даже и посещающих храм Божий и молящихся, так невнимательно и небрежно относится к основам учения христианского, что, пожалуй, речь более православная не так бы и понравилась, как эта речь, которая польстила нашей религиозной и национальной бесцветности и как бы придала ей (этой бесцветности) вышний исторический смысл.

Ошибка оратора, неясность и незрелость его мыслей на этот раз, вероятно, и доставили ему такой шумный, но вовсе не особенно лестный успех.

Для того, кто этой речи покойного Достоевского не слышал и не читал или кто забыл те ее самые существенные строки, которые меня так неприятно удивили, — я эти строки здесь помещаю. Вот они:

«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, *всечеловеком*, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!

И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение *в европейские противоречия уже окончательно*, указать *исход* европейской тоске в своей русской душе всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и *изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!*»

Я спрашиваю по совести: можно ли догадаться, что здесь подразумевается некая таинственная церковно-мистическая и даже чуть не апокалипсическая мысль о земном назначении России?

Что-нибудь одно из двух — или я прав в том, что эта речь промах для такого защитника и читателя Церкви, каким желал быть Ф. М. Достоевский, или я сам непроницателен в этом случае до невероятной глупости. Пусть будет и так, если уж покойного Достоевского во всем надо непременно оправдывать. Я и на эту альтернативу соглашусь скорее, чем признать за этой космополитической, весьма обычной по духу в России выходкой какое-то *особое* значение!

Примечания

Печатается по: Властитель дум. Ф.М. Достоевский в русской критике конца XIX - начала XX. СПб., 1997.